



# Алина Чинючина Жили-были люди...



Алина Чинючина

**Жили-были люди... Сборник**

«ЛитРес: Самиздат»

2016

**Чинючина А. Р.**

Жили-были люди... Сборник / А. Р. Чинючина — «ЛитРес:  
Самиздат», 2016

Это сборник рассказов о людях, живущих в разные времена, - таких же, как мы с вами. Они радуются и печалются, ищут ответы на вопросы и находят их.



Алина Чинючина

Жили-были люди

Редактор Мария Филенко

Огромную благодарность автор выражает Анне Узденской – за критические замечания, ценные советы, редакторскую правку и моральную поддержку при подготовке сборника

*Неловкое время*

*Светлане и Мариш*

В эту зиму на город упали небывалый мороз и ветер. Старики говорили, что такого холода не было больше ста лет – со времен Французской войны. Маленький город обезлюдел, пурга со свистом хозяйничала на улицах, и в утреннем морозном тумане нехотя зажигались в домах огоньки.

Наш монастырь стоял далеко, на окраине города, но тяжелые, страшные слухи докатывались и сюда. По утрам сестры в холодной трапезной шептались едва слышно, пока появление настоятельницы, матери Марфы, не обрывало эти зловещие шепотки. А городской сумасшедший Сенечка усаживался под воротами и зловеще выл о конце света.

Но к Сенечке мало кто прислушивался. Годы и события уже сбились с привычного шага и неслись, как обезумевшие лошади. Чем мерить нынче жизнь – годами? Месяцами? Слухами?

А я ничего не замечала. Время то летело со свистом, то застывало, заледенев. Или это застыл внутри холодный ком – мое отчаяние и горе? Не было у меня больше души. И меня не было. Ася, Александра Вересова, восемнадцати лет от роду, дочь барона Андрея Ивановича Вересова, миловидная хохотушка, не имела ничего общего с молчаливой, худой, как ветла, девушкой с запавшими глазами, которая по утрам смотрела на меня из зеркала. Черный монашеский платок, намотанный кое-как, старил, но теперь это стало неважно. Кто из знакомых мог найти и увидеть меня здесь?

В кошмарной неразберихе, творившейся в этот год в стране, Александра Вересова вполне могла считаться погибшей...

Несколько месяцев прошло с той сентябрьской ночи, когда в нашу петербургскую квартиру постучался мрачный, заросший щетиной человек в мундире без погон. Белое, ничего не выражающее лицо его ничем не напоминало Кирилла Евгеньевича Ленского, друга и сослуживца моего отца. Уже больше полугода от папы, полковника царской армии, не было вестей, и появление Кирилла Евгеньевича нас с мамой сначала больше обрадовало, чем напугало.

Торопливо глотая холодную вареную картошку, Ленский передал нам измятое, измазанное чем-то бурым письмо от отца. Отец просил нас с мамой поскорее уходить из Петербурга и пробираться к тетке за Волгу. Мы и сами понимали: лучше затеряться, пересидеть в глуши и вернуться домой, когда все успокоится. И все же медлили. Тысяча девятьсот восемнадцатый год страшен был и лих, но уходить из родного города, бросив все, не имея известий о муже, мама моя не решалась.

А я не хотела уходить еще и потому что беспокоилась о Даше. Даша Вольская, кузина, самый дорогой мне после мамы и отца человек, пропала без вести почти год назад. В августе семнадцатого года она уехала погостить к тетке Елене Петровне Вересовой, в Екатеринбург. Моя мама очень не хотела отпускать ее, но тетка давно горячо звала нас обеих, да и кто мог предполагать, что будет впереди? Мы собирались ехать вдвоем, но за три дня до поездки я слегла с бронхитом, и Дашу сопровождала лишь няня, немолодая, но решительная сибирячка

Глафира, которой сам черт был не брат, вздумай он обидеть ее любимых девочек – нас с сестрой. Право, она одна стоила двух вооруженных мужчин.

Мы с Дашей выросли вместе, потому что разница в возрасте у нас всего лишь в полгода, да и интересы всегда были схожи. Мать Даши, родная сестра мамы, умерла восемь лет назад, отец ее служил в одной части с моим, и кузина чаще жила у нас, чем в московском своем доме. Мама моя, Елизавета Григорьевна, не делала различий меж нами, и я искренне считала Дашеньку своей родной сестрой.

С февраля нынешнего года мы не получили от Даши ни единого письма.

Каждый вечер мы с мамой спорили за тщательно зашторенными окнами, спорили горячо и зло. Мама говорила, что нужно уходить, я уговаривала ее остаться. И при большевиках люди живут, говорила я, приводя в пример соседей, маминых подруг (которые, кстати, тоже наполовину разъехались) и семьи моих подруг по Смольному. Хуже было другое – голод. Остаться в голодном, наводненном войсками Петербурге было страшно. Уходить в неизвестность – еще страшнее.

Я никогда особенно не интересовалась политикой, предпочитая всем нынешним невзгодам проблемы прошлых веков. В книгах, а не в жизни искала я утешение и развлечение, глотая вздохом исторические романы. Да только оказалось внезапно, что история вошла в наш дом, не задумываясь, хотим ли мы этого.

Ленский отказался сообщить нам, где теперь находится отец. Одно сказал: жив и здоров, на свободе. Умолял нас не мешкать, попросил чистого полотна на портянки, а потом исчез, оставив в нашей маленькой квартире тревогу и отчаяние.

Следующим утром мы с мамой были уже на вокзале.

Наших скромных сбережений едва хватило на поезд до города за Волгой, где жила мамина сестра. Мы не очень боялись дороги, надеясь самое позднее через неделю добраться до места, поэтому взяли с собой лишь еды да немного теплых вещей. Но вышло совсем не так, как загадывали. Через сто верст от столицы поезд «реквизировали» – о, какое страшное слово! – красные войска. Быстро и решительно они высадили из вагона всех пассажиров, среди которых было несколько беременных женщин и множество детей.

Мы остались одни.

Не стану описывать всех тягот нашего пути. К середине ноября мы добрались до С\* и, несомненно, продолжили бы путь, если бы не упали холода. Мама сильно ослабела в дороге и, проведя ночь под дождем, простудилась и слегла. По счастью, нас приютил женский монастырь.

Дни и ночи молилась я в монастырской часовне, а потом сидела у постели мамы. Она не узнавала меня, шептала что-то невнятное, звала отца, читала какие-то стихи... Я поняла потом, что мама чувствовала себя девушкой, вспоминала первые свидания с отцом... что ж, надеюсь, ей стало от этого хоть чуточку легче. Монахини несколько раз прогоняли меня, боясь, что я от усталости и недосыпа слягу тоже, но я упрямо возвращалась, поспав несколько часов и жуя на ходу кусок хлеба.

В середине декабря мать скончалась. Ее похоронили на монастырском кладбище, начертан на скромном деревянном кресте лишь имя и даты. Нынче некогда почитать мертвых. Нынче некогда замечать живых.

После смерти мамы я все же заболела. Ночь простояла на коленях в холодной церкви – и, наверное, простудилась. Следующий месяц помню плохо: что-то бредово-горячечное, боль в груди и неизбывное горе... Но сквозь пустоту и отчаяние что-то все-таки светило. Была ли это Даша, ниточка надежды на встречу с ней? Или мама удерживала от последнего шага, чтобы разжать пальцы, сведенные судорогой на карнизе жизни, и перестать быть? Бог весть.

А потом нужно было жить дальше. Сестры сказали: оставайся, да мне и идти-то было теперь некуда.

Я хотела принять постриг. Просила, умоляла. Но настоятельница монастыря, мать Марфа, сказала мне строго и ласково:

– Не глупи, девочка. Это боль в тебе говорит сейчас и отчаяние. Господь сам подаст знак, если будет надобно. Живи при монастыре белицей, выполняй послушание, а там сама посмотришь. Если останется твердым твое решение – значит, так тому и быть.

И я сказала себе: до следующей беды. Впрочем, казалось мне, что больше бед уже и придумать нельзя, куда же больше-то на одного человека.

Нужно было жить, а сил на это не было. Как заведенная, выполняла я всю работу, что поручали мне, что-то даже говорила, кому-то даже улыбалась. Внутри было пусто и глухо. Чернота затопила душу.

Как-то морозным днем, уже февральским, когда солнце било с крыш в предчувствии близкой весны, мать Марфа призвала меня в свою келью. Навстречу мне, входящей, поднялся со стула молодой человек лет двадцати пяти, невысокий, одетый в памятную и ненавистную мне одежду – черную кожанку, красную рубашку, высокие сапоги. Поклонился весьма уважительно, но руки не поцеловал – пожал, как мужчине. Мать Марфа, поджав губы, проговорила:

– Асенька, с тобой хочет побеседовать Аркадий Николаевич Ефимов, председатель здешнего... – она закашлялась, но молодой человек выручил ее:

– ...ревкома.

– Да-да. Я вас оставлю. Прошу вас, Аркадий Николаевич, – добавила она, обращаясь к незнакомцу, – не будьте чрезмерно настойчивы. Девочка недавно оправилась от болезни и еще очень слаба.

Я была здорова уже больше месяца и слегка удивилась, но промолчала, решив, что у матери Марфы могут быть во лжи свои резоны. И оказалась права.

Аркадий Николаевич оказался действительно «председателем ревкома» – правда, я не вполне уяснила, что это такое. И совсем не поняла: что грозному и страшному ревкому от меня нужно?

Мы беседовали совсем недолго и почти ни о чем. Аркадий Николаевич расспросил меня о житье, о том, чем занимаюсь. Пояснил с улыбкой:

– Негоже молодой образованной девушке убивать жизнь в болоте. Сами же, поди, знаете: религия – опиум для народа.

Я покачала головой:

– И слышать о том не хочу. Простите... Я к Богу обращена с детства, а новые веяния мне непонятны, – и замерла, ожидая реакции. Арест?

Но грозный председатель лишь рассмеялся.

– Эх, как вам голову-то заморочили. А вы бы, Александра Андреевна, побольше с молодыми общались да книжки новые читали. Знаю, горе у вас. А все же от людей не прячьтесь – глядишь, легче станет.

Я болезненно дернулась, и он сразу это заметил, успокаивающе кивнул:

– Простите меня, Александра Андреевна. Я ведь, собственно, просто познакомиться с вами хотел.

– Зачем? – удивилась я.

– Город у нас маленький, все на виду. А вы – лицо новое. Да еще и, – он усмехнулся, – видное. Жаль, с матушкой вашей познакомиться не пришлось...

Заледенело внутри, и я, вскочив, крикнула:

– Что вам нужно от меня? Подите прочь!

Аркадий Николаевич тоже поднялся, лицо его построжело.

– Хорошо, оставим недомолвки. Александра Андреевна. Я знаю, кто вы, и знаю, кто ваш отец.

– И что же?!

– Да ничего. Пока ничего. Но я отвечаю за Советскую власть в этом городе и обязан подозрительных держать под контролем.

– А я, значит, подозрительная, – ехидно протянула я, остывая.

– Да. Вы, я вижу, девушка умная. Вы – дочь белогвардейца, и, надеюсь, понимаете, что не ваши красивые глаза вынуждают меня знакомиться с вами. Но мне вас жаль, – продолжил он уже мягче. – Вы молоды и... – он запнулся, – несчастны. А потому я прошу вас: будьте благоразумны, хорошо? Не совершайте необдуманных поступков, о которых пришлось бы потом пожалеть. Не будьте врагом самой себе.

– Словом, сидите тихо, – подытожила я.

– Примерно так, – улыбнулся председатель ревкома. – И... знаете, вы, правда, приходите к нам. У нас такие девчата славные, и вообще народ хороший! Глядишь, и поняли бы...

– Что именно?

– Что за нами – правда, – просто сказал он. – Да и просто так... вот сейчас театр открываем, библиотека в городе есть... конечно, не чета монастырской, но все же неплохая. Вы бы, может... вы музыке обучены? Сыграли бы нам на концерте.

– Спасибо за приглашение, – холодно ответила я. – Я подумаю.

Аркадий Николаевич оказался понятлив и подал мне руку, собираясь уходить. Я, покачиваясь, протянула ему свою и снова замешкалась, ощутив вместо привычного поцелуя крепкое дружеское пожатие.

– Постойте, – окликнула я его, уже уходящего. – Скажите... откуда вы знаете, кто я?

Он усмехнулся.

– Должность такая. До свидания, Александра Андреевна.

Конечно, я никуда не пошла. Не нужны мне были эти театры и избы-читальни. Я испытывала почти животный ужас перед этими «новыми людьми» в их красных косынках и косоворотках, черных кожанках и сапогах. Я не понимала и не хотела, честно говоря, понимать то, чем они живут, и, словно страус, прятала голову в песок, надеясь хоть этим обезопасить себя.

Но любопытство все-таки зашевелилось во мне, и как-то вечером, пересилив неприятное чувство, которое возникало всегда при мысли о *красных*, я спросила мать Марфу о том, кто такой этот Ефимов?

К моему удивлению, мать-настоятельница отозвалась о нем тепло и даже с некоторым уважением.

– Славный юноша, – сказала она. – И семья у них приличная, отец и мать – здешние... отец адвокатом был...

– Был? – переспросила я.

– Да, умер пять лет назад – зимой выюга замела, а мать прошлой осенью от чахотки... – она перекрестилась. – Образованные, по местным меркам, очень хорошо. Сам Аркаша гимназию закончил, курсы учительские. Здесь детишек учил, пять лет назад уехал в Москву. В армию его, слышала я, забрали, да, видно, там с пути-то и сбили. Вернулся с красными. Ну, а раз здешний, то и народ знает, вот его и назначили председателем... все забываю, как его... ревкома. Так что теперь, можно сказать, Аркаша у нас начальник, – мать-настоятельница улыбнулась.

– Вот оно что, – пробормотала я.

– Я ведь его с пеленок знаю, – продолжала мать Марфа. – Мальчик он хороший, воспитание все же ничем не вышибешь. Не балованный, к старшим с почтением, и справедлив – в отца. Если так под ним и останемся, – она снова перекрестилась, – то, Бог даст, пронесет. С таким начальником можно жить.

– А я-то ему зачем? – спросила я.

– Порядок, говорит, такой. – В голосе матери Марфы прорезалась виноватая нотка. – Он уж и сам извинялся; ему тоже неловко в чужую жизнь лезть. Ты, Асенька, все-таки с ним поосторожнее. Человек человеком, а время нынче лихое. Гляди, не сболтни чего...

– Он меня к ним в театр звал, – сказала я.

Мать Марфа подумала.

– Тут уж ты сама решай, деточка. Иной раз оно бы и не грех – молода ведь ты, да только уж вовсе дурная нынче молодежь пошла. Бога забыли... Тебе решать, тебе выбирать.

Зима в тот год затянулась. Снежные бури занесли маленький город, ветер свистел в степи. Воздух был наполнен слухами – то тревожными, то страшными, то обнадеживающими. Впрочем, я не замечала этого. Я вообще ничего не замечала.

Жизнь моя делилась между сном, молитвами и послушанием. После смерти мамы я долго не могла молиться. Святые со старых стен смотрели строго-укоризненно, а я все спрашивала: «За что?». Церковные напевы не манили больше, запах ладана казался приторным. Все хотелось сказать Господу: «Эх, ты...»

Многому я научилась за ту зиму. Мыть полы и ставить хлебы, полоскать белье и варить щи, штопать рубахи и стирать пыль. Раньше эта сторона жизни проходила мимо меня. В комнатах убирала горничная, еду готовила кухарка, белье мы отдавали прачке. Двор расчищал дворник, платье шила портниха. Теперь, каждый день исполняя послушание тяжелой работы, я прониклась к ним жалостью. Но уважать по-прежнему не могла. Ежедневный, изнуряющий, монотонный физический труд – самая прочная преграда для того, чтобы по-настоящему мыслить. «Кухаркины дети» не могут управлять государством, это должны делать те, у кого есть на это время.

Но сейчас я такого и хотела. Думать мне было некогда. Вечерами я добиралась до своей кельи и замертво валилась на постель. Если же сон не шел, вставала и ощупью, не зажигая свечи, шла в келью матери Марфы.

Мы о многом говорили с ней в ту зиму. Мать Марфа стала мне настоящим другом. Если, конечно, может стать другом восемнадцатилетней девушке женщина за сорок. Она охотно беседовала со мной, советовала, какие книги лучше взять из монастырской библиотеки, а чаще говорила: «Молись...» И никогда не отказывала в утешении. Однажды она сказала:

– Запомни на всю жизнь, девочка: Господь никогда не посылает испытаний свыше сил. Все, что Он ниспошлет, ты можешь вынести.

Я редко жаловалась ей, и говорили мы все больше на отвлеченные темы. Мать Марфа, оказывается, в миру получила хорошее образование, а кроме того, была умной и доброй женщиной. Порой у меня мелькала мысль, что такой же могла бы стать к сорока годам моя Дашенька.

О сестре я думала и тревожилась почти постоянно. Но не было никакой возможности узнать о ней хоть что-то: между Екатеринбургом и затерянным в волжской степи городишком протянулись многие версты войны, вражды и ненависти. Страна была разделена, расколота на части. В ту зиму все это – тоска по маме, тревога за сестру, обида и чувство утраты, потеря всего, что было прежде важным – Родины и гордости – все сплелось в один тугой ком, и ком этот не давал дышать.

А мать Марфа смотрела на меня темными своими глазами и все понимала.

– Господь милостив, – повторяла она.

Ветреный март катился уже к концу, когда в одну из промозглых ночей мне приснился странный сон. Я увидела Дашу, идущую мне навстречу по цветущему майскому лугу. Она шла, улыбаясь, и таким же ярким, как и солнце, огнем светились ее волосы. Улыбка ее была столь добра и светла, что, казалось, принадлежала уже не этому миру. Я закричала и протянула руки, а сестра, одарив меня лучистым взглядом, пошла прямо навстречу, не касаясь ногами травы. Я



проснулась и долго-долго лежала с мокрыми глазами, не зная, как же растолковать этот сон – как благую весть или как недоброе предзнаменование. Потом я вскочила с лежанки – и упала на колени перед иконой.

– Господи, – зашептала я, не вытирая слез, – спаси и сохрани рабу твою Дарью, выведи ее на путь добрый, не оставь защитой своей, не допусти беды, Господи!

– Добрый знак, – сказала мне поутру мать Марфа, когда я рассказала ей этот сон. – Свидитесь, значит, вскорости.

С этого дня я снова могла разговаривать с Господом. Оледеневший ком внутри подался, начал таять, и слова молитв полились легко и горячо, как и прежде. Здесь не было прямой связи с тем сновидением – просто я поняла, что Он милостив и не оставит меня.

А тем же вечером я встретила в коридоре, ведущем в монастырскую библиотеку, грозного председателя ревкома. Мы не виделись больше месяца, и машинально я отметила, что за это время он похудел и стал словно взрослее. Исчезло из глаз удалое веселье, придававшее ему вид мальчишки, ввалились щеки, и весь он выглядел строже, старше, и в глазах его блеснул металл.

– Аркадий Николаевич, – изумилась я, – что вы тут делаете?

Я вовсе не имела в виду ничего плохого, но Аркадий вспыхнул и опустил голову.

– Я за книгами приходил, – объяснил он. – У вас великолепная библиотека... мать Марфа разрешает мне...

Библиотека в монастыре действительно была достойной, богатой трудами не только церковными, но и светскими. Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Байрон соседствовали здесь с житиями святых, а потертые тисненные узоры на корешках, потрепанные уголки вызывали восхищенный трепет своей древностью и так и манили взять их в руки. Я, немного придя в себя, много раз заходила в высокую сводчатую комнату, чтобы хоть ненадолго забыть обо всех печалях. Но красный комиссар – здесь? За книгами?

– Вы, Александра Андреевна, зря удивляетесь, – словно прочел мои мысли юноша. – Я, к примеру, Гоголя очень люблю. Все уговариваю мать Марфу пожертвовать хоть часть книг для нашей гимназии, для города – не соглашается. Здесь, говорит, читайте, а на вынос не даю...

Мне на мгновение стало смешно. А потом я подумала, что человек, любящий Гоголя, вряд ли может быть законченным негодяем.

Мимо нас прошествовала по лестнице грузная сестра Анна и окинула нас суровым взглядом.

Аркадий Николаевич тихонько вздохнул. Мне стало жаль его, и я хотела уже раскланяться, но он остановил меня:

– Вы не уделите мне несколько минут для разговора? – спросил он.

– Что, опять биографию выяснять будете? – насмешливо спросила я.

– Зачем вы так, Анастасия Андреевна, – после паузы глухо проговорил Аркадий. – Думаете, если большевик – так сразу черт с рогами и души у него нет? Мне давно не случалось побеседовать с умными, образованными людьми... тем более, из столицы. Впрочем, – прибавил он, отступая, – если не желаете, не смею задерживать...

Да что, в самом деле, не чудили же он, хоть и красный комиссар! Решительно распахнула я дверь в библиотеку...

Вечерние часы пролетели так быстро, что я опомниться не успела. Казалось бы, едва завязался разговор, как слышу – зовут к вечерней молитве. А мы и поговорить толком не успели! Аркадий Николаевич, оказывается, замечательно знаком был со стихами Пушкина, и мы наперебой читали наизусть любимые строчки. А по поводу Лермонтова горячо поспорили.

– И все равно я полагаю, что Лермонтов мрачен! – говорил азартно мой собеседник. – И немудрено – ему лет-то сколько было, когда писал? Самый возраст для страданий и вздохов о том, что жизнь не удалась. Я вон в шестнадцать тоже бежать из дому собирался, потому что

родители – косные и устаревшие, друзья не понимают и, ах, меня никто не любит! А повзрослел бы Михаил Юрьевич – и понял бы, что жизнь-то на самом деле прекрасна...

– Опять – вперед, в светлое будущее? – насмешливо фыркнула я.

– И вперед! И в будущее! – запальчиво ответил Аркадий Николаевич. – Мы сами строим свою жизнь и...

Мы оба так увлеклись, что и не услышали стука в дверь. Манифест строителя светлого будущего прервало появление на пороге матери Марфы.

– Аркадий Николаевич, голубчик, – довольно мягко проговорила она, – не слишком ли вы засиделись? Молодым девицам в эту пору молиться да ко сну отходить полагается.

Грозный председатель ревкома поспешно вскочил – и вдруг шагнул навстречу настоятельнице:

– Матушка Марфа, – тихо сказал он, – поговорить бы... не откажитесь выслушать, прошу. Тяжко мне нынче... – и признался, глядя на нее: – Грех взял на душу... долг велит, и умом понимаю, что враги Советской власти, что время нынче такое – с корнем рубить. А все ж не могу – люди живые... душа противится.

Молча, ласково, с бесконечной усталостью мать Марфа погладила его по голове.

– Пойдемте со мной, голубчик, – сказала тихо и вышла.

Аркадий и прежде посещал библиотеку монастыря едва ли не раз в неделю, по словам настоятельницы, а теперь и вовсе зачастил. Раз в четыре-пять дней неизменно возникала на лестнице его худощавая фигура. Монахини, привыкшие к частым появлениям такого гостя, почти не обращали на него внимания. А я... а я скоро поняла, что не ради книг он сюда приходит. Вернее, не только ради книг. Я боялась даже думать о том, чем занят он там, в городе, вне этих стен, не раз замечая, каким колючим и злым приходит он, и как оттаивают его глаза после наших встреч. Несколько раз приходил он к матери Марфе на «исповедь», и она подолгу говорила с ним – а потом его, уходящего, крестила и взаперти молилась одна.

А еще – достаточно было однажды видеть, как светлеет его лицо при моем появлении...

Что же, а я ведь была и не против. Незаметно, исподволь, тихим шагом завоевывал место в моем сердце этот человек. Заледенев после смерти матери, я откликалась на каждое доброе слово или проявление участия, а Аркадий, жесткий и резкий в разговорах с другими, ко мне был неизменно добр и внимателен. Кроме матери Марфы, у меня не осталось в этом мире ни единой привязанности, и Даша была неизвестно где. Тяжело жить, если любить некого и нечем, и поневоле ищешь, к кому привязаться. Я боялась признаться себе, что слишком часто думаю о человеке, о котором думать не должна. У нас с ним ничего общего. Он идет с теми, с кем я не пойду никогда. Он защищает тех, кто погубил меня. У нас с ним нет будущего...

И мысли эти были столь мрачны, что я хмурилась – а потом отбрасывала их. Потом. После. Буду решать, когда наступит время.

Кончился март, пролетел робкой зеленью в хмуром мареве дождей апрель, проглянул в разрывах туч май. Тихий монастырь надежно укрыт был от одуряющего шума пролетарского праздника Первомая, куда так настойчиво приглашал меня Аркадий. Я не хотела и слышать. Не желала иметь ничего общего с этим новым, страшным, чужим «пролетариатом», как выпренне именовался теперь прежний «народ». Пряча голову в песок, как страус, надеялась, что беда обойдет меня, если спрячусь от нее, закрою глаза.

А еще почему-то неприятна была мысль о том, как будут смеяться рядом с Аркадием чужие девушки в красных косынках...

Стояла уже середина мая, когда мать-настоятельница отправила меня и сестру Евгению в город – за солью, керосином и спичками.

Этот день, не в пример прежним серым и хмурым, выдался звонким и таким ясным, что воздух звенел от синевы. «Лето пришло», – сказала моя спутница, когда мы вышли за ворота.

Действительно, лето пришло. Так пели в хрустальной вышине птицы, таким ласковым и теплым было солнце, что я зажмурилась – и на мгновение ощутила себя маленькой девочкой в имении у бабушки – вот так же выбегали мы с Дашей за ворота сразу после приезда, торопясь вобрать в себя, ощутить, впитать всей кожей запахи лета, травы и жизни.

Но голос сестры Евгении вернул меня к действительности, и я опустила голову. Это было. Этого не будет.

Мы управились с делами довольно скоро и уже к полудню тронулись в обратный путь.

Радостно и нетерпеливо звонили колокола, солнце золотило купола и шпили церквей, весело скакало по верхушкам деревьев. Мы неторопливо шли по просохшей, утоптанной дороге, щурясь на свет. Я сняла белую косынку, тряхнула головой, коса упала на плечо. Запрокинув голову, смотрела я в весеннее небо, по которому плыли пряди облаков.

Впереди, на дороге показалась тонкая фигурка. Она быстро приближалась... уже можно было разглядеть светлое платье и платок, из-под которого выбивались локоны... рыжие локоны... и улыбка... улыбка – такая знакомая. У меня глухо забилося сердце.

Я остановилась. И закричала – отчаянно, громко, так, что моя спутница испуганно схватила меня за плечи. Но я вырвалась из ее рук и бросилась навстречу бегущей мне девушке – навстречу моей любимой, пропавшей и чудом нашедшейся Дашеньке.

Мы вцепились одна в другую и замерли, закрыв глаза. Я, всхлипывая, гладила, гладила ее по волосам, по похудевшим плечам, шепча что-то бессвязное вперемешку с рыданиями, по-русски и по-французски, боясь поверить, что это не сон. Даша прижималась ко мне и тоже что-то говорила, но слова ее заглушал радостный гомон воробьев.

И все было хорошо. Так хорошо, что я боялась верить своему счастью. Сестра нашлась, она чудом избежала ареста в Екатеринбурге, когда город заняли красные, и чудом смогла уйти оттуда, в надежде добраться до столицы и отыскать нас. Господь провел ее через линию фронта, не оставил Своей милостью в дороге, потому что сгинуť она могла десятки раз и сотни раз могла не найти нас с мамой в голодном и страшном Петербурге. Не отправь меня мать Марфа в то утро в город, пойдí мы с сестрой Евгенией другой дорогой – и разминулись бы мы с Дашей, и, быть может, никогда бы больше не встретились.

– Это Бог тебя вел, да, да, – шептала я, прижимаясь к плечу сестры и плача от радости.

Помрачнев, выслушала Даша о смерти моей мамы. Глухо и ровно, словно о чужом, рассказала, как умерла от тифа Глафира; как писала она в Петербург на наш старый адрес и в Москву на имя отца, надеясь узнать о его судьбе, но так и не получила ответа; как решила добираться до столицы сама, не думая ни о расстояниях, ни о голоде, ни об опасности.

– Словно во сне была, – призналась она. – Только молилась все время – за вас с тетей Лизой и за Андрея Витальевича...

– Мы наших отцов обязательно найдем, – горячо сказала я. – Вот кончится это все – мы вернемся в Петербург... все будет хорошо.

Даша лишь мрачно усмехнулась.

Одно только огорчало меня, огорчало безмерно. Даша, всегда и во всем понимавшая и поддерживавшая меня, с первой же встречи Аркадия невзлюбила. Настолько сильно, что не пыталась и не хотела это скрывать. При его появлении она мрачнела и то сжималась в комок, превращаясь в испуганного зверька, то, надевая маску едкого ехидства, высмеивала комиссара так зло и колко, что он краснел от гнева и сжимал кулаки – но ответить отчего-то не решался. Теперь, если Даше случалось заходить в библиотеку во время наших встреч, разговоры мгновенно переставали быть откровенными и легкими, как прежде – мешали настороженность, ехидные подковырки, столь же вежливые, сколь язвительные, которыми обменивались Аркадий и Даша. Красный комиссар перестал приглашать меня в библиотеку и на спектакли, кото-

рые ставила его молодежь в городе, уже не так восторженно говорил о Советской власти и часто молчал, переплетя пальцы, хотя приходил по-прежнему часто.

И мне теперь наши с ним встречи были не в радость, потому что я видела, как отдаляется, уходит от меня сестра.

– Зачем ты так? – спрашивала я ее. – Он ведь добрый, он не такой, как все они, разве ты не видишь...

– Комиссар добрым быть не может, – отвечала сестра, не глядя на меня. – Раскрой глаза. Откуда ты знаешь, что ему от тебя надо?

Этот же вопрос я и сама себе задавала, но очень уж не хотелось верить в плохое. Мы с Аркадием по-прежнему старались не говорить на «острые» темы, но во всем остальном находили общий язык – может быть, как раз потому, что не хотели огорчать друг друга. С ужасом и тайной радостью я чувствовала, как робко тлеет в груди огонек большого чувства... вот только что нужно для того, чтобы переступить черту и признаться – чужому, недругу, почти врагу? Такому дорогому человеку...

Катились дни, заполненные работой, молитвами, робкой радостью и размолвками с сестрой. Так не могло продолжаться дольше, так было неправильно. Но что и как я могу изменить, я не знала по-прежнему.

Я даже матери Марфе решила поведать о тайных своих горестях. Она же, выслушав меня, сказала:

– Подлости по отношению к тебе Аркадий не допустит никогда, не такой это человек. Красный там, или белый, или вовсе зеленый, но он порядочный и женщину не обидит. Ну, а все прочее... – она вздохнула и улыбнулась по обыкновению. – Господь милостив... – и погладила меня по щеке.

И была светлая, теплая ночь середины июня, когда в ворота монастыря забарабанили чьи-то кулаки. Даша уже уснула, а я все лежала, ворочалась. Окна нашей кельи, распахнутые от духоты, выходили на монастырский двор, и потому, вскочив, высунувшись в окно, я с удивлением узнала во взбежавшей на крыльцо фигуре Аркадия Николаевича.

Мало ли какие дела могли привести председателя ревкома поздней ночью даже в столь неподходящее место, как женский монастырь? Но я почему-то поняла, что дела эти связаны со мной, и принялась лихорадочно одеваться. Накинув на плечи платок, я бросила быстрый взгляд на безмятежно спавшую Дашу и решила пока не будить ее, тихо притворила за собой дверь. Сбежала вниз по скрипучим ступеням – но половицы уже дрожали под ногами поднимающегося наверх Аркадия. Суровое, бледное лицо матери Марфы маячило за его плечом.

– Александра Андреевна... Ася, – задыхаясь, вымолвил Аркадий, и у меня мелькнула на мгновение нелепая мысль: уж не собирается ли он объясниться? Зачем еще мог случиться приход его в столь поздний час? – Вам нужно уезжать из С\*\*, и немедленно!

Я смотрела на него молча, ничего не понимая.

– Сегодня вечером, – продолжал Аркадий уже спокойнее, – мною получен приказ о вашем аресте. Вас и Дарью Сергеевну приказано доставить в Н\* под охраной.

Мать Марфа быстро перекрестилась.

– Господи, да что же это? За что?!

Я усмехнулась, мгновенно все поняла.

– Разве же не ясно, матушка? За то, что дочери офицера, за фамилии – этого мало разве? – И сама поразилась, как жестко и зло прозвучал мой голос.

– На вас обеих написан донос, – продолжал Аркадий. – Я должен был бы прийти сюда на рассвете, и сейчас у меня ночуют двое солдат, присланные с приказом от уездного начальства. Но я... я не смог. Вы понимаете? Я примчался к вам. У вас есть несколько часов, уезжайте. – Голос его дрогнул. – Это все, что я могу для вас сделать.

Я крепко пожала его руку и поразились, какими горячими вмиг стали его пальцы. Мои были как лед.

– Спасибо вам, Аркадий Николаевич. Мы уедем сейчас же, чтобы не подвести вас... и вас, матушка, – я повернулась к настоятельнице и увидела в ее глазах слезы.

Через четверть часа мы с Дашей уже стояли у ворот. Не было времени ни на сборы – июньские ночи коротки, ни на долгое прощание. Мать Марфа крепко обняла нас обеих и перекрестила.

– Храни вас Бог, девочки, – сказала она на прощание. – Здесь или уже *там*, но мы обязательно встретимся.

– Куда же нам идти? – прошептала Даша, прижимаясь ко мне.

– Все объясню по дороге, – оборвал ее Аркадий. – Пора!

Лошадь свою Аркадий оставил в монастыре – одна, она не могла бы нам помочь. Он вел нас столь уверенно, что мы доверились ему. Он не мог причинить нам зла.

Больше часа мы шли, почти бежали по сонным улицам спящего города, потом по узкой тропинке в степи, потом – по заросшей колючим шиповником балке на восток от С\*. Когда за поднявшимися холмами скрылись огоньки и мягкая тьма окутала нас со всех сторон, Аркадий остановился.

– Я этой балкой мальчишкой бегал, – негромко сказал он, вытирая пот со лба. – Она тянется еще километров пять и выводит на большак. Дальше дорога прямая, и я вас оставляю – к рассвету нужно быть дома, чтобы не вызвать подозрений.

– Аркадий Николаевич, – тихо попросила Даша, – объясните же... что вы придумали?

Он улыбнулся.

– Я не так глуп, чтобы срывать вас с места, не дав надежды взамен. Александра Андреевна, Дарья Сергеевна, я все придумал. Вы пойдете на восток, в Оренбург. Там сейчас регулярные войска белой армии... У Врангеля служит мой школьный товарищ, Борис Обухов. Я точно знаю, что он в Оренбурге, потому что неделю назад получил от него весточку... через верных людей. Ася... вы пойдете к нему. Скажете, что от меня, он поможет. Борис очень обязан мне, он не сможет отказать, и потом... – он смутился на миг, – мы обещали друг другу. Письмо я вам, конечно, дать не могу – оно погубит вас в случае неприятности. Но вы возьмете вот это...

Он вытащил из кармана серебряный портсигар.

– Эту вещь Борис должен узнать, она принадлежала его деду. А у него, – тут он опять чуть смутился, – осталась моя серебряная ложечка. Глупость, конечно, мальчишество, но пригодилось вот. Борис вам поможет, обязательно поможет.

На секунду Аркадий запнулся.

– Сейчас вы выберетесь на большак, – продолжал он, роясь в карманах, – и сможете уехать на первой попавшейся подводе. Вот тут, – он вытащил сверток, – деньги, хлеб и хлебные карточки. Хлеб – для вас, а остальное... как придется. Только будьте осторожны в пути, прошу вас. И... вот еще что.

В руках его блеснул металл маузера.

– Это мой, личный. Держите.

– Аркадий Николаевич..., – прошептала я потрясенно.

Твердой рукой Даша взяла маузер и деловито спрятала в карман юбки. И – поклонилась Аркадию, низко, едва не до земли.

– Спасибо вам, – сказала она. – И простите меня. Я считала вас...

– Сейчас это не важно, – оборвал ее Аркадий. – Совсем не важно.

Он повернулся ко мне.

– Александра Андреевна... Ася... – тихо сказал он.



Маска жесткого и бесстрашного командира слетела с его лица, и стало оно совсем детским и очень мягким, дрогнули губы. Я протянула руку и погладила его по щеке, ужасаясь собственной смелости. Пахло сухой травой, оглушительно трещали цикады.

– Аркадий Николаевич, я люблю вас, – сказала я так же тихо и просто. Почему я не сделала этого раньше?

– Я тоже, – прошептал Аркадий, сжав мою ладонь. – Я люблю вас, Ася. Простите меня.

– За что?

Он махнул рукой.

– Теперь неважно... Вам пора уходить, Ася.

– Мы увидимся? – прошептала я.

Он пожал плечами.

– Не знаю. Может быть. Когда все это закончится. Когда мир вернется с головы на ноги. Когда... – он умолк и отвернулся на секунду, а когда повернулся вновь, глаза его странно блестели. – Прощайте, Ася, родная моя.

– Я буду молиться за вас, – сказала я.

– Не надо. Я не верю в Бога. Можно я поцелую вас на прощанье?

Он склонился к моим губам, и время перестало для нас существовать. А когда вернулось вновь, Аркадий осторожно выпустил мои руки – и пошел прочь, не оглядываясь, по заросшей колючими кустами балке. А я стояла и смотрела ему вслед.

Подошла Даша, взяла меня за руку.

– Идем.

Еще не поздно было рвануться за ним, окликнуть, остаться – навсегда, на всю жизнь, одну на двоих, пусть даже недолгую – лишь до рассвета, за которым наступила бы медленная смерть без него длиною в десятки лет.

Нужно было уходить.

Еще не поздно было остаться.

А я стояла и смотрела ему вслед.

Октябрь 2007 г., апрель 2008 г.

### *Карточки*

Мне было шесть лет, когда началась война,

Все четыре военных года мы с мамой прожили в небольшом городке, затерянном в удмуртских лесах. Нас эвакуировали из Москвы в октябре сорок первого – как раз тогда, когда ушел на фронт отец, врач-хирург, работавший в одном из военных госпиталей Москвы. Мама моя, терапевт, тоже получила повестку. Но девать меня было некуда, обе бабушки наши остались в захваченном Минске, и мама пошла к военному. Подробностей я не знал, конечно, да и не интересовался по малолетству. Мне тогда все было игрой – и тяжелая, холодная дорога в санитарном поезде до Ижевска, и чужой город, и новое жилье. Только письмо из воинской части о том, что отец пропал без вести, разбило эту игру, превратили ее в жизнь, а слезы мамы навсегда развели в моем понятии слова «война» и «игра». С той поры я перестал играть во дворе с мальчишками «в войнушку».

В памяти остался песок под ногами, в который вгрызались приземистые березы и карагачи; высокое, бледно-голубое небо; улочки, ныряющие то вверх, то вниз – город наш лежал в долине меж двух холмов; крик воробьев в марте.

И голод.

Я быстро привык к маминым почти круглосуточным дежурствам в госпитале, к самостоятельному житию-бытию, к очередям, в которых мне надо было отоваривать карточки. Но при-

выкнут к голоду не мог. Желудок постоянно сводило, и я тянул в рот все, что только попадалось на дороге – кислые яблоки-падалицы в городском саду, щавель у пруда, крошки на выцветшей кухонной клеенке... Впрочем, крошки эти чаще меня успевали слизать Лидка и Соня, соседские девчонки-погодки.

Нас с мамой подселили в деревянный двухэтажный дом, к тете Тоне Зайцевой. Дом был очень старым, за водой приходилось ходить едва ли не на край света – через две улицы, к колонке. Принесенных двух ведер хватало только сварить обед и ужин. Правда, невеселая эта доля легла сначала только на маму, но потом и я, подросший, подключался по мере сил к водным походам.

На втором этаже были четыре квартиры. Чтобы попасть в нашу, нужно было пройти по длинному скрипучему коридору до самого конца. Из трех комнат одну тетя Тоня отдала нам, в другой ночевала сама с погодками, а в третьей спал Вовка, старший ее сын. Сказать по совести, я сначала его побаивался – очень уж злым показался мне этот тощий хмурый мальчишка, старше меня аж на целых три года. Когда мы только поселились в доме, Вовка уже закончил третий класс, а потому смотрел на меня, дошколенка, с недостижимой высоты своих почти десяти лет и школьной премудрости. Только потом я узнал, что на нем держится все хозяйство тети Тони, что он может и за девчонками приглядеть – Лидке тогда было два года, а Соне – три; что он добр и застенчив, и от застенчивости нелюдим. Но все-таки мы не смогли с ним подружиться – три года, незаметные во взрослой жизни, тогда, в детстве, барьером разделили нас.

А вот мама и тетя Тоня ладили отлично, несмотря на всю их несхожесть. Тетя Тоня работала штамповщицей на механическом заводе, эвакуированном в город, кажется, из Тулы. Невысокая, полная, краснолицая и белобрысая, она была внешне полной противоположностью моей худенькой, черноволосой маме. Тетя Тоня была шумной и залихватской, все наружу – смех ли, горе ли. Мама же все держала в себе, и даже о тяжелой ее усталости после суточных дежурств можно было догадаться лишь по запавшим глазам. Впрочем, обе они сходились в умении помочь кому угодно по первому слову да по горькой судьбе, обычной тогда у любой тыловой женщины.

Редкими свободными вечерами мама и тетя Тоня мирно возились в тесной кухоньке, опровергая известную поговорку о двух хозяйках у одной плиты, то есть печки. Мама ставила уколы часто болевшим хозяйским девчонкам, тетя Тоня в первую же весну оделила нас мешком семенной картошки, когда горсовет выделил эвакуированным участки под огороды. И очень часто, когда мама задерживалась в госпитале или оставалась на ночное дежурство, тетя Тоня кормила меня и укладывала спать, не отличая от своих детей.

Впрочем, обо всех этих взрослых делах и заботах я стал догадываться много позже, по маминым рассказам, по собственному опыту. Тогда, сказать честно, мне не это было важно. Большой старый двор, где летом можно было прыгать в классы, а зимой заливать замечательную горку. Озеро в центре города, в котором с мая по сентябрь бултыхалась вся местная ребятня. Парк, где так хорошо играть в прятки. Замороженные стекла окон – на них расцветали такие замечательные зимние узоры. Герань на подоконнике у тети Ани, соседки из квартиры справа. Злой и сварливый инвалид дядя Толя, муж тети Гали из первой квартиры. Свиристый пес Полкан, которого я потом приручил. А еще – школа, букварь, карандаши и непроливашка-чернильница, друзья-приятели, среди которых, увы, так и не нашлось одного настоящего, единственного друга. А еще – черная тарелка радио, сначала горько-жгучая, а потом все чаще взрывающаяся радостными залпами салютов. А еще – сверкающий солнцем и слезами отчаянный майский день сорок пятого. Вот что было тогда мне важно, а вовсе не взрослые заботы.

Одно только было общим для всех – голод. Судороги в желудке преследовали нас даже по ночам. И самым страшным событием, после, конечно, похоронки, была потеря продуктовых карточек.

Однажды утром тетя Тоня вернулась из ночной смены и не стала, против обыкновения, ложиться вздремнуть на час-полтора, а пошла на рынок. Кто-то сказал ей, что там с утра меняют женское белье на пять килограммов муки. Тетя Тоня уже три года бережно хранила подаренный ей перед самой войной мужем «гарнитурчик» – не поднималась рука продать, мужа ждала. Но, видно, не выдержала. Уже стоял июнь, старые запасы картошки подходили к концу, новых было еще ждать и ждать, и пять килограммов муки оказались бы весьма ощутимым подспорьем. Вовка, помнится, отправился в долгий поход за водой, а Лидка и Соня, уже пяти- и шестилетние, оставались на моем попечении. Мама моя вторую ночь дежурила в госпитале, и я втайне надеялся, что вот вернется Вовка, я оставлю на него девчонок, а сам сбегая к ней. И, может быть, госпитальная повариха Клавдия нальет мне щедрой рукой миску такого замечательного, обжигающе горячего, ароматного кулеша.

Мы с девчонками вымыли оставшуюся от скудного завтрака посуду и решили пойти во двор поиграть. Конечно, мне было скучно с малявками, но все девчонки и мальчишки моего возраста с утра помогали по хозяйству или на огородах. Вольные дни школьных каникул в действительности бывали вольными далеко не всегда. Впрочем, мы привыкли к этому и иной жизни просто не знали.

Я расчертил мелом классы, Соня кинула камешки, и девчонки увлеченно запрыгали, шлепая босыми пятками по асфальту. Меня классики не интересовали, я остановился поодаль и лениво обзирал хорошо знакомые окрестности – сарай, в котором мы хранили дрова, пару хозяйственных построек неизвестного назначения, оставшихся, видимо, от прежних хозяев, три чахлах карагача, не дающих защиты от летней жары. Скучно. Вот вернется Вовка... задаст нам работу... или, что случалось гораздо реже, предложит мне пойти с ним на пруд. Скрипнули ворота, пропуская низенькую тети-Тонину фигуру. Девчонки заметили мать и с радостным визгом кинулись к ней. Подошел и я.

– Нету, – пожаловалась она, ероша волосы девчонок. – Вчера, оказывается, меняли, а сегодня – только на матерьяльчик. А где ж я матерьяльчик возьму, сами пообносились все.

Соня решила, что хочет пить, и ускакала вслед за матерью. Подумав, за ней ушла Лидка. Вернулся Вовка, опустил на землю налитые доверху ведра, пробурчал:

- Все руки, проклятые, оттянули...
- Пойдем на пруд? – предложил робко я.
- Не, – ответил Вовка, – огород полоть надо.
- А потом?
- Потом – посмотрим.

Он поднял ведра и тоже скрылся в подъезде.

Я пнул ногой камешек и подумал, не уйти ли в госпиталь прямо сейчас.

Страшный крик прорезал вдруг утреннюю непрочную тишину. В первый момент я даже не понял, что это крик человеческий, женский. Но он повторился, и я, похолодев, кинулся в дом. Одним прыжком взлетел по скрипучей лестнице, промчался по коридору. Крик доносился из нашей квартиры. Я толкнул незапертую дверь и ворвался в тесную кухню.

Тетя Тоня каталась головой по столу и стучала кулаками по коленям. Лицо ее, безобразно распухшее, корежилось плачем, черные провалы глаз сочились слезами, некрасиво морщился раскрытый рот, выталкивая из глубины придушенный голос:

– Кар-точ-ки... Карточки украли... Боже... карточки...

Вокруг тети Тони кругами ходил Вовка, тыча ей под нос кружку с водой и повторяя, как заведенный:

– Мам... ну мам... ну мам....

Лидка и Соня испуганно жались к стенам.

Хлопнула внизу входная дверь, проскрипела лестница. В кухню вошла моя мать, замерла на мгновение. И, сразу все поняв, бросилась к тете Тоне, сжала ее плечи, резко тряхнула:

– Тоня... ну-ка успокойся! Перестань! Володя, дай воды.

Тетя Тоня подняла разлохмаченную голову и закричала с ненавистью:

– Успокойся?? Как успокойся? Карточки! Все карточки! Месяц только начался, чем я их кормить буду, чем? Как жить будем? – она снова захлебнулась рыданиями. – Сумку порезал, гад, сволочь, я даже рожу его запомнила, фашист, подлюга!!

– Мам, – умоляюще сказал Вовка, – ну не надо, мам. Я работать пойду... – и, угловатый, неуклюжий, положил свою худую ладонь на раскосмаченную материну голову.

Тетя Тоня обхватила его обеими руками, прижала к себе и завывала – тяжело, уже без слез.

Мама торопливо шагнула в нашу комнатку, быстро вернулась с пузырьком – остро и сладко запахло валерьянкой.

– Вставай, – приказала отрывисто, жестко. – Пойдем в милицию, заявление напишем. Поймают они его, не плачь.

Тетя Тоня вскинула голову, и надежда полыхнула в ее глазах. Но тут же простонала:

– Как же, поймают! Жди. Ищи ветра в поле.

Все-таки она подчинилась, дала поднять себя, умыться, покорно причесалась и, вцепившись, как ребенок, в руку мамы, вышла с ней вместе

Тишина повисла в кухне. Соня и Лидка все так же жались друг к другу. Вовка сел на стул и вдруг выругался – тяжело, грязно, как взрослый.

Все мы, даже пятилетняя Соня, понимали, что значит потеря карточек. И никто не знал, что же теперь делать.

– Ладно, – сказал, наконец, Вовка и поднялся. – Пойду.

Он сменил рубаху на чистую, расчесался у обломка зеркала, достал из ящика комода свидетельство о рождении, а из шкафа – тяжелые осенние ботинки.

– Куда? – пискнула Лидка.

– На завод, – ответил он коротко и захохотал ботинками по ступенькам.

Я молча сидел на полу. В голове билась только одна мысль: «Не со мной. Не с мамой». Стоило подумать, что мама могла бы вот так же биться головой о столешницу, как из меня начинали сочиться потоки слез, а горло забивало песком.

Сколько мы так сидели, я не помню. Соня и Лидка молчали. В раскрытое окно влетела огромная муха и с утробным жужжанием принялась носиться вокруг лампочки.

Снова застучали шаги на лестнице. Я втянул голову в плечи. Но это были не мама и не тетя Тоня. Шагнула в дверь почтальонша Надя, оглядела нас, спросила:

– Девки, мать где?

Девки дружно заревели.

– В милицию она пошла, – сипло объяснил я. – Карточки у них украли.

– Господи, – охнула Надя. Но – показалось ли мне или вправду в глазах ее мелькнуло облегчение? – Вот... Саш, письмо им. Отдай сам, ладно? – она вдруг всхлипнула и выскочила за дверь.

Я повертел в руке грубый прямоугольный конверт. Номер полевой почты был дяди Андрея, мужа тети Тони. Но фамилия отправителя стояла чужая, В таких конвертах приходили обычно похоронки.

Заледеневшими пальцами я положил письмо на стол. Внизу снова скрипнула дверь, слышен стал голос мамы. Я втянул голову в плечи и, закрыв уши ладонями, кинулся вон.

Ночью я проснулся от нестерпимой духоты. Сел, спустил ноги с кровати, помотал головой. Во рту было мерзко, голова болела. Прислушался. В квартире было тихо, но тихо как-то по-мертвому, даже сопения девчонок почти не было слышно.

Весь вечер в доме нашем царила суматоха. Тетя Тоня, увидев похоронку, упала в обморок. Мама не могла привести ее в себя минут пятнадцать. Девчонки, увидев желтое, застывшее материнское лицо, дружно заревели. Вернулся с завода Вовка – злой, подавленный, его не взяли, конечно, лет не хватало. Одна за другой возвращались с работы соседи, узнавали, в чем дело. Тетя Аня принесла два килограмма пшена. Тетя Валя – огурцов с огорода. Даже прижимистый дядя Толя вынес из закромов с полкило сала, покрытого коркой соли. Мама отсыпала половину оставшейся у нас картошки. Тетя Тоня словно не видела всего этого. Она сидела на табурете, раскачиваясь из стороны в сторону, словно деревянная кукла, и по осунувшемуся лицу ее непрерывно текли слезы.

Я помотал головой и побрел в кухню. Глотнуть бы воды, умыться. Душно. Включил свет, дотопал до ведра с водой, зачерпнул от души. Мелкими глотками выпил степлившуюся воду, урча от наслаждения, присел к столу. На lined paper лежал листок бумаги. Я развернул его.

– «Люди, простите меня, – ударили в глаза неровные строчки. – Все одно с голоду помирать. А так хоть детей в детдом возьмут, кормить-одевать станут. Деточки мои, простите меня. Так будет лучше. Антонина».

Я заорал и кинулся в комнату. Мне вдруг показалось, что это мама написала мне это письмо. Я схватил ее за плечи, затряс бешено. Мама проснулась, села на кровати, сонно спросила:

– Санькин, ты чего?

Тетя Тоня повесилась в сарае, где хранились дрова. Когда всполошенные моим криком соседи, обыскав двор, вынули ее из петли, она еще, хоть и слабо, дышала. Нас, детей, туда не пустили. Спустя какое-то время носилки с вытянувшимся на них телом затолкали в карету «Скорой помощи». Соня и Лидка выскочили во двор и с плачем кинулись за машиной. Вовка перехватил их у ворот, обнял, прижал к себе, спрятал лицо в их светлых легких волосенках.

Я дотянулся до шкафа, в котором мама хранила крупу и хлеб, достал горбушку, предназначавшуюся мне на утро. Медленно спустился во двор, чувствуя, как наполняется слюной рот, подошел и спросил тихо:

– Жрать хотите?

Соня и Лидка перестали плакать, одновременно кивнули «Да». Вовка, в один такт с ними, покачал головой: «Нет». Я протянул им горбушку.

Вовка мотнул хлеб на ладони, вздохнул и ловко и умело разломил на три совершенно равных части. Две протянул сестрам, одну мне. А сам аккуратно и быстро слизал с ладони несколько оставшихся на ней крошек.

19.02.2007.

*Иван да Марья*

Ох, и красивая же была эта пара – Иван да Марья. Точно из русских сказок пришедшая, из тех далеких времен, где древняя Русь водила хороводы вокруг своих костров. Они и похожи были на картинки из детской книжки: высокий, синеглазый, широкоплечий Иван с льняными кудрями и маленькая сероглазая Марья с толстой русой косой, предметом зависти и ровесниц, и женщин постарше.

Ее так и звали все – Марья. Не Маша, не Манька и не Маруська. Даже девчонкой она выделялась среди сверстниц – спокойствием каким-то, немногословностью и рассудительностью, совсем не детской прямоотой. Как глянет на тебя огромными глазами – всю душу, кажется, вывернет, все до глубины поймет, до доньшка. Недаром мачеха ее ведьмой звала, но не ударила ни разу, даже не замахивалась. Боялась.



Мать у Марьи умерла, когда девочке минуло двенадцать, – утонула. Речка наша, Калинка, хоть и неширокая, а глубокая, и тонули в ней, бывало, даже в августе, в жару, когда обнажались берега и отмель на середине реки становилась видна. А в июне, после бурных весенних дождей, и вовсе не редкость. Хорошо женщина плавала, да, похоже, ногу судорогой свело; ее только на другой день нашли под мостом, тело отнесло течением. Отец Марьи на похоронах стоял совсем черный, а на другой день запил. И пил беспробудно три месяца. А через полгода привел в дом новую жену. Та девчонку невзлюбила сразу, хоть и старалась виду не подавать. Не обижала вроде, даже ругалась не сильно, не ударила ни разу – а все ж не приласкает никогда и кусок получше, как родная мать, не поднесет. Диво ли, что Марья после свадьбы перебралась в дом мужа. Свекровь-то, Софья Ильинична, приняла и полюбила ее сразу. Да и мудрено было ее не полюбить.

Как Марья пела! За эти песни ей все можно было простить. Откуда взялся в рабочем городе такой сильный, редкостный по красоте голос – загадка. На всех девичьих гулянках первый запев – Марья. Иван так и говорил, что сначала песню услышал, а потом увидел Марью. Ей было семнадцать тогда, и еще целый год, пока невесте восемнадцати не исполнилось, они ходили рядом, не смея друг друга за руку взять. Как же, мачеха Марью в строгости держала; да и родители Ивана – люди старой закалки, порядочные, с чего бы и сыну баловником расти?

Наша улица Краснознаменная одним своим концом упиралась в гору и принадлежала, строго говоря, не городу, а поселку Петровскому, ставшему городской окраиной перед самой войной. Это теперь поселок находится в черте города, его окружают многоэтажные кварталы, и только роза ветров не дает городу расти и дальше на запад. А тогда за ним лежала степь, куда поселковые ребятишки бегали за диким луком, и отвалы – туда свозили отходы с большого нашего завода.

Краснознаменная, начинаясь прямо от горы, спускалась вниз, сливалась с улицей Менделеева и выводила к центру поселка, к магазину, а от него – к шоссе, ведущему в город. Речка Калинка делила Петровский на две части, Западную и Восточную. Поселок уже тогда был довольно большим, имел даже свою школу, и с городом его соединяли автобусы, ходящие пять раз в день до заводской проходной. Улица наша сплошь заросла черемухой и сорняками; а вот яблонь, которые в таком изобилии растут сейчас во дворах, тогда не было. Дичка, дикая яблонька прижилась непонятно откуда только во дворе у Семеновых, и Иван мальчишкой бдительно охранял ее ветки от набегов соседских ребятишек. Впрочем, никто особо не покушался: Иван считался заводилой и был уважаем в ребячьей компании – наверное, потому, что никогда не жульничал, в играх, если выбирали водящим, судил по справедливости, а еще хорошо учился. Среди пацанов того времени это считалось в плюс, а не в минус.

Иван да Марья выросли на соседних улицах, но друг друга почти не замечали – до того дня, когда Иван проходил мимо веселой компании девчат, поющих у реки. Полоскала Марья белье и пела песню про соловушку, свою любимую. Откуда она ее взяла, неизвестно – эту песню вообще до нее никто не знал в поселке. То ли мачеха привезла из далекой Белоруссии, откуда была сослана вместе с семьей, то ли по радио Марья услышала – Бог весть. Но полюбила ее и пела очень часто. Чаше других, тех, что все тогда пели, и советских, новых, и старых, бабкиных, про рябину да лучинушку. Соловушкой прозвали Марью подруги.

Иван к тому времени работал в первом механическом. Туда же после восьмилетки и Марья пришла. Учиться дальше ей мачеха не позволила, а отцу было все равно. Ну, Марья и не возражала, а уж когда с Иваном ходить начала, и подавно. И ведь что странно: росли-то на соседних улицах; играли на заросших ковылем и одуванчиками холмах, всей гурьбой на речку за щавелем ходили да купались оравой – а друг друга до той встречи словно не видели. Три года разницы – разве много? Впрочем, в Марье тогда было-то – коса да голос. Малявка малявкой, веснушчатая и голенастая, глазами зыркает, языкатая, как все они, девчонки-подлетки. Она расцвела в одночасье, как будто уснула тощей лохматой нескладехой, а проснулась девушкой,

крепкой, стройной и сильной, свежей, как эта сирень, ветви которой клонились от тяжести цветов над их свадебным столом.

Вот так шел Иван с работы, услышал песню и остановился. Спустился к реке. Посмотрел на стайку девчат, полошущих белье, увидел Марью. Подошел, взял за руку...

Больше они не расставались.

Свадьбу играли в мае, и белое платье Марьи было усыпано лепестками сирени, в изобилии растущей во всех дворах. Столы вынесли во двор, сдвинули и накрыли вышитыми скатертями. На всю улицу пахло печеном. Немудрящим было угощение, но его с лихвой возместили и смех, и песни, и танцы под гармошку, на которой так весело играл старик Федосыч, азарт и беззаботность молодежи и радость родителей Ивана; даже отец Марьи, хоть и выпил ради свадьбы, сидел непривычно причесанный, в свежей рубашке и солидно поздравлял молодых.

Гуляли всей улицей, и даже у самых отъявленных сплетниц не повернулся язык хоть в чем-то очернить эту пару. Бабы любовались, тайком утирали глаза. Слишком сильным было их счастье, слишком откровенно и явно сквозила любовь в движениях, в голосах жениха и невесты, в том, как они смотрели друг на друга. Многие девчата хотели бы оказаться на ее месте; многие с Ивана глаз не спускали. Но ни у кого не нашлось черных слов, когда смотрели люди на эту любовь.

Одно только заставило перешептываться, одно слегка омрачило общую радость. Утром треснуло зеркало, перед которым причесывали невесту. Райка, портниха, признанная всей улицей мастер, заметила недоуменно среди общей тишины:

– Ой, чего это? Не к добру, говорят. – А потом махнула рукой: – А ну их, бабкины сказки.

А мачеха Марьи только губы поджала.

За свадебным столом пели девчата, пели женщины постарше, пели все вместе. Голос Марьи выделялся в общем хоре. А потом она запела одна. И пела вроде бы для всех, но видно было – для него одного, для своего Ивана, для того, кто один для нее на всю жизнь, и в радости, и в горе. Пела все ту же, свою любимую, про соловушку. Притихли люди; такая тоска и горечь звенели в голосе Марьи, точно вот-вот придет черная беда и заберет с собой любимого, а у нее не хватит сил его спасти. Софья Ильинична, с этой минуты – свекровь, смотрела на невесту и только головой качала.

Но даже самые завистливые и недобрые, если они еще оставались за столом, прикусили языки, когда высокий, крепкий, сильный Иван на руках понес невесту от стола до входа в дом. Маленькая Марья прижималась к нему, обвила руками его шею, и казалось – всю жизнь он так ее пронесет, от любой беды защитит и убережет.

...Вот так и жили они. На работу вместе и с работы вместе. В огороде вместе и в гостях вместе. Иван часто просил Марью спеть для него одного, и, бывало, вечерами они уходили на берег, на мостки, с которых бабы белье полоскали. Иван садился на песок и, обхватив руками колени, смотрел, смотрел на жену. А она стояла у воды, глядя вдаль, и лицо ее становилось строгим, отрешенным и словно нездешним. И голос летел, звенел над водой. Шли мимо люди, замедляли шаги, притихали...

Дом у Семеновых был большой, очень светлый и чистый. Софья Ильинична всюду в комнатах повесила белые, украшенные вышивкой занавески, на пол сплела из старых тряпок половички. Только тряпок-то было немного, обносились люди после революции, это уж потом, как она говорила, «на свет смотреть стали». В низеньких, но уютных комнатах всегда пахло цветами, свежим деревом и чем-то неуловимо домашним, добрым, родным.

Марья, работающая, скромная, приветливая, пришлась Семеновым по сердцу. Свекровь любила ее песни слушать. Марья поначалу стеснялась при ней во весь голос петь, потом привыкла. Пела и в доме, прибираясь или стряпая, и во дворе, и в огороде, собирая вишню. Даже свекор слушал, посмеиваясь в усы. А Иван, большой, сильный, молча смотрел на Марью – и улыбался. А уж она-то, после вечно недовольной мачехи да отца-пьяницы, после попреков и

неласкового, грязноватого родительского дома попав в дружную, работающую семью, расцвела, похорошела. Улыбка не сходила с ее губ, в голосе звенело счастье.

Месяц они так-то миловались, ходили, держась за руки, никого вокруг не замечая, смотрели друг на друга. А через месяц война началась.

Марья провожала на вокзал сразу троих: отца, мужа и свекра. Софья Ильинична старалась держаться, не выла в голос, как многие женщины, но глаза, опухшие, красные, даже не прятала. А Марья слезинки не проронила. По-бабьи повязанная платком, вцепилась в руку мужа и не отпускала до той самой минуты, как объявили посадку. Иван ее пальцы, стиснутые, побелевшие, по одному разжимал. Поцеловал ее, потом мать и в вагон прыгнул уже на ходу. А отец Марьи, уходя, шепнул что-то ей на ухо. Кто рядом стоял, говорили: прощения попросил. Марья кивнула – и поцеловала его, в первый раз за несколько лет. А мачеха опять только губы поджала.

Вот и остались Марья со свекровью вдвоем в большом – на две семьи строили – деревянном доме. Жили и ждали. Марья с тех пор так и не снимала повязанного по-бабьи платка. И на посиделки девичьи больше не пришла ни разу. Работа, дом да свекровь. А вот петь – пела. Если воскресным утром на улице слышится песня – гадать не надо, это Марья мужу удачу привораживает.

Смех смехом, а так и стали бабы говорить: привораживает. То одна, то другая, приходили к Семеновым по вечерам, просили:

– Спой, Марья. Ту, про соловушку. Что-то от моего долго писем нет, живой ли?

Марья не отказывала, пела. Про соловушку, который весной возвращается в родной сад. Вроде и песня как песня, ничего особенного, а смотришь – через день-два письма приходили, да все треугольнички, от живых.

Только себе счастья наворожить не смогла. В январе сорок второго сразу две похоронки пришли Семеновым, одна за другой, с разницей в полмесяца. Сперва свекор Марьи, отец Ивана, а потом и сам Иван. Смертью храбрых. А где могилы их, никто не знал, потому что наступление и все в одной куче.

Софья Ильинична только и сказала:

– Что ж ты... себе не наворожила, Марья! Что же ты...

И повалилась в беспамятстве.

Вот с тех пор Марья петь перестала совсем. Как бабка отшептала. Сколько ни просили ее женщины – никому ни разу. У свекрови, говорят, прощения просила, хоть и понимала, что та не со зла – с горя. А потом и просить стало не у кого – умерла Софья Ильинична через месяц. Марья осталась одна в опустевшем доме и больше черного платка уже не снимала.

Первые пленные немцы появились у нас в сорок пятом. Город наш тогда не имел еще статуса закрытого, несмотря на большой завод, и поэтому пленных стали присылать к нам едва ли не самым первым. Селили их в бараках на окраине, и попервости на них люди смотреть как на диковинку ходили. Как же: вроде звери – а две руки, две ноги и голова, как у всех. Мальчишки на улицах бросали камнями, когда колонну оборванных, угрюмых людей в серо-зеленых шинелях вели на работу. Бабы только что пальцами не показывали. Марья смотреть не ходила ни разу. Что, дескать, я там не видела – горя чужого?

Их водили на работу почти через весь город и почему-то всегда пешком. Много чего сделали пленные в нашем городе; до сих пор стоят кварталы, построенные ими. Странная, причудливая архитектура, неуловимо средневековый стиль; смешение культур – в облике этих вроде бы обычных домов можно уловить и черты лютеранской церкви, и облик милых, добропорядочных европейских буржуа, и русский климат накладывает на фасады свой суровый отпечаток. Первый наш поселковый кинотеатр построен пленными, и даже первые афиши рисовали, говорят, тоже они.

Их водили по шоссе, мимо школы, мимо рыночной площади – заросшей травой лужайки возле магазина, на которой все еще торговали в те голодные годы кто чем: тряпьем разным, лепешками из картофельной муки, маленькими кружками молока, изредка – творогом или сыром. Бабки летом продавали цветы, в изобилии росшие на городских окраинах да в своих палисадниках; скромные тюльпаны, пышные георгины и маки, застенчивые ромашки смотрели с прилавков на тех, кому не жаль было денег за эту красоту. Покупали цветы, в основном, перед сентябрем, в подарок учителям или если кто перед женой провинился. В остальное время ушлые парни воровали их по ночам из тех же палисадников. Бабки, дотошные, вездесущие, поначалу глазели на немцев так, что про товар забывали, а потом долго судачили вслед. Бывало, первые месяцы вслед нестройной колонне кричали кто что, кто «Гитлер капут», кто «Что, гады, съели?», кто «Вышел немец из тумана, вынул ножик из кармана». Сгорбленные эти спины только вздрагивали в ответ на плевки и свист.

Потом народ по привычке к пленным, перестал таращить на них глаза. Жалкие, ссутуленные фигуры их стали для города привычными. Бывало, покупали и у них что-нибудь, если в воскресный день кто-то из немцев приходил на рынок. Они продавали деревянные игрушки, вырезанные, надо признаться, очень искусной рукой; оловянных солдатиков, из чего уж их только отливали; леденцы на палочке, дешевые, но вкусные; сделанные из жести кружки. Потом, уже после Победы, предприимчивые фрицы открыли свою портняжную артель, и надо сказать, заказов бывало у них немало. В основном, конечно, верхняя одежда, юбки-то и платья да детскую одежку бабы всегда шили сами.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.